

G. THOMSON, *Studies in Ancient Greek Society, II, The First Philosophers*, London, 1955.

Дж. ТОМСОН. *Исследования по истории древнегреческого общества. II. Первые философы*, М., ИЛ, 1959*

Второй том социологического исследования профессора Дж. Томсона по истории Древней Греции посвящен становлению греческой философии. Том этот назван «Первые философы». В философском плане в книге рассмотрен период от Фалеса до Парменида, в мировоззренческом — детально исследуются предшествующие философии формы общественного сознания Китая, Египта, Месопотамии, Крита и собственно Греции. В целом изложение подчинено анализу влияния товарного производства на общественное сознание. Анализ этого влияния, опирающийся на большой фактологический материал, приводит автора к выводу: «Признав важность товарного производства для истории мысли, нетрудно понять, почему философия в ее отличие от мифологии появилась впервые в Греции и Китае вместе с началом чеканки монеты. В государствах Египта и Месопотамии периода бронзового века товарное производство никогда не выходило за пределы высших слоев общества, что, соответственно, сохраняло в модифицированной форме личные отношения и мифическую идеологию первобытного коммунизма. В Греции и Китае, однако, старые отношения и идеи были разрушены и заменены новыми — абстрактными отношениями и идеями, основанными на денежном обращении» (стр. 326)¹.

Книга состоит из пяти частей, включающих шестнадцать глав, имеет обширную библиографию, снабжена указателем, картами.

В первой части — «Племенной мир» — устанавливается исходная гносеологическая и социологическая проблематика. Автор исходит при этом из марксистских положений о природе общества. Орудия, речь, координация действий признаются специфически человеческими явлениями: «Три особенности: орудия труда, речь, кооперация — есть части единого процесса производительной деятельности. Это специфически человеческий процесс, и в качестве его организационной единицы выступает общество» (стр. 34).

Поставив важный для гносеологии вопрос: «Можно ли в структуре членораздель-

* Русский перевод рецензируемой книги появился уже после завершения работы над данной рецензией. В одном из ближайших номеров редакция намерена опубликовать замечания по поводу качества перевода и послесловия к нему проф. А. Ф. Лосева.

¹ Здесь и дальше цитаты из книги Томсона даны в переводе авторов рецензии. Ссылки на страницы книги относятся к русскому изданию.

ной речи обнаружить элементы трудового процесса?» (стр. 34), автор дает марксистский ответ: «В производстве человеческое воздействие на природу не является простым и непосредственным, но опосредствовано через отношения между участниками труда... Эти отношения налаживаются средствами второй сигнальной системы, которая... отличается от первой сигнальной системы именно тем, что взаимодействие между индивидуальным организмом и естественной средой опосредствуется социальными отношениями» (стр. 35).

Здесь же, в первой части, дается общая характеристика форм сознания родового общества, вскрывается определяющая роль сексуальных отношений на складывающееся мировоззрение (стр. 41—55). Мировоззрение рода рассматривается в двух планах: с одной стороны,— и это, по мнению автора, характерно для любых социальных формаций,— мировоззрение возникает как проекция социальных отношений на окружающий мир, с другой стороны,— что специфично именно для родового общества — мировоззрение этого периода использует сексуальные отношения в качестве модели, по аналогии с которой осознаются природные связи, природная причинность. Это последнее — сексуальная модель природных связей как специфическая черта родового мировоззрения — результируется сначала в представлениях о тотеме, как о космической противоположности мужского и женского, а затем, с централизацией власти, эта противоположность наделяется всеми достоинствами и недостатками личности, приобретает персональный характер.

Во второй части — «Восточный деспотизм» — автор детально исследует конкретные формы мировоззрения древнего Китая и стран Ближнего Востока, вскрывая экономические (иригация) причины централизации власти и отражение этой централизации в мировоззрении. Для всех этих форм отмечается как общее: «Все космогонии этого типа... классифицируются как „генеалогические“, так как они основаны на представлении, что естественный мир возник в процессе полового воспроизводства». При этом Томсон отмечает, что «идея полового воспроизводства — с о ц и а л ь н о е представление. Развитие и организация мира представляются здесь в форме, определенной развитием и организацией племени» (стр. 86).

В части третьей — «От Вавилона к Милету» — рассматриваются в генетическом и сравнительном плане научное и мировоззренческое наследство стран Ближнего Востока и Греции. На примере греческого календаря детально исследуется взаимодействие древнего субстрата мифологии с новыми элементами, связанными с переходом от лунного к звездному календарю (стр. 99—121). Здесь же анализируется греческая теогония и, в частности, взгляды Геспода. Глава заключается разбором философских взглядов милетцев.

По мнению автора, милетские философы еще неразрывно связаны с родовой традицией по содержанию, хотя и порывают с ней по форме (стр. 146). Вместе с тем уже в истории милетской школы трактовка мира изменяется: «Представленный вначале как генетический процесс мир по мере его изучения становился у них постепенно саморегулирующимся. Это важное изменение. Оно показывает, что работа этих философов, революционизировавших форму примитивного мышления, несла в себе элементы нового содержания» (стр. 147—148). Суть этого нововведения автор видит в смещении постановки вопроса от «Как стало?» к «Из чего состоит?».

Все три предпосылки милетцев — общее происхождение мира, вечное движение, борьба противоположностей — производны от родового мировоззрения, будучи проекцией структуры рода на мир (стр. 149). Отличие милетцев от этих предшественников, а вместе с тем и философии от мифа автор видит в абстрактном и объективном характере милетской философии (стр. 149—152).

В четвертой части — «Новые республики» — анализируются экономические и политические условия развития древнегреческого рабовладельческого общества. Важнейшие социальные сдвиги этого периода связываются с победой демократии и превращением класса рабов в основной производящий класс, что перенесло центр тяжести антагонистических противоречий на противоположность между рабовладельцами и рабами. Рабы «были одновременно и отверженными общества и производителями его

благ. Это противоречие, хотя и открывало новый мир знания, разрушало вместе с тем демократию, создавало как в обществе, так и в индивидууме глубокий разрыв между потреблением и производством, мыслью и действием» (стр. 227).

В развитии демократической мысли этого периода автор различает три тенденции: «Первая, представленная Анаксимандром в Милете и Солоном в Афинах, состоит в модификации старых аристократических традиций и в их развитии той частью аристократии, которая оказалась связанной с новым классом купцов. Вторая, воплощающая традиции и стремления лишенного имущества крестьянства, не представлена известным именем, но ее можно обнаружить в мистических культах, связанных с мифической фигурой Орфея... Третья, которую можно рассматривать как синтез первых двух, есть пифагорейзм» (стр. 224).

Роль орфиков в развитии философии показывается автором в несколько неожиданным и далеко не бесспорном плане. Томсон связывает мистицизм орфиков с человеческими условиями работы в шахтах: «в шахтах людям впервые жизнь представлялась тюрьмой, а тело — темницей души» (стр. 232). С шахтами связывается и учение орфиков о подземном царстве и знаменитая пещера Платона (стр. 232). По мнению Томсона, орфиков следует рассматривать как зачинателей идеалистической тенденции: «Милетцы рассматривали природу существующей независимо от человека, исключали субъект. Орфики представляли человека существующим независимо от природы, исключали объект. Из одной тенденции возникает объективный (т. е. детерминистский) материализм. Из другой — субъективный идеализм» (стр. 233).

В части пятой — «Чистый разум» — исследуются учения пифагорейцев, Гераклита и Парменида

В пифагорейцах автор усматривает представителей богатых предпринимателей и купцов, а их вклад в философию — учение о числе — толкуется как выражение идеализма (стр. 250). В учении пифагорейцев о слиянии противоположностей автор подчеркивает как характерное, с одной стороны, отличие от анаксимандровой трактовки противоположностей: «Для Анаксимандра процесс слияния противоположностей — процесс разрушения. Для Пифагора, напротив, — процесс созидания» (стр. 252), а с другой, — абсолютизацию момента единства противоположностей при изобретении относительности борьбы противоположностей.

В отличие от пифагорейцев, у Гераклита, сохраняющего генетические связи с пифагореизмом, борьба абсолютна, единство — относительно (стр. 269). О Гераклите говорится: «Его концепция саморегулирующегося цикла постоянных изменений материи есть идеологическое отражение экономики, основанной на товарном производстве... В его космологии огонь стоит к другим формам материи именно в таком отношении, в каком деньги стоят к другим товарам» (стр. 269).

У Парменида, по мнению автора, «мы впервые имеем дело с метафизической концепцией бытия, противопоставленной диалектической концепции становления, которая до этого времени не ставилась под вопрос» (стр. 278).

Считая закономерным развитие античной философии в идеализм, автор видит в Пармениде первого представителя философского идеализма: «Переход от Гераклита к Пармениду означает переход от количества к качеству в развитии идеализма» (стр. 285). Соответственно Гераклит представляется последним представителем древней традиции: «Впервые сформулированная милетской школой, поднятая пифагорейцами на ведущую к идеализму ступень развития абстрактного мышления, диалектика примитивного сознания находит у Гераклита полное и окончательное выражение. Но именно по этой причине диалектика Гераклита чревата своей противоположностью. Как мы видели, его постоянно изменяющийся, но вечный огонь есть абстракция. И сама регулярность изменений огня наталкивает на мысль, что, пожалуй, нет нужды постулировать изменение как таковое. Этот шаг и был сделан Парменидом» (стр. 284).

И именно в философии Парменида, по мнению автора, находит завершение перестройка мировоззрения. Место сексуальных отношений, по которым в родовом мировоззрении осознавались процессы природы, занимает новая модель естественных процессов — денежное обращение: «Парменидово единое, как и более поздние идеи „суб-

станции», может рассматриваться как отражение или проекция субстанции меновой стоимости» (стр. 286).

Таким образом, в книге Томсона развитие древней философии связано с экономическим и, в значительно меньшей мере, с политическим развитием общества, представлено как закономерный переход от родового мировоззрения, использующего для объяснения мира принцип полового воспроизводства, к мировоззрению рабовладельческому, использующему иной принцип — функционирование денег в товарном производстве.

Бесспорным историко-философским вкладом Томсона в проблему становления философии представляется удачная, на наш взгляд, попытка конкретизировать марксистский тезис об определяющей роли общественного бытия применительно к мировоззрению определенной исторической эпохи.

В развиваемых автором положениях ценной и важной следует считать мысль о том, что в определяющем влиянии бытия на мировоззрение может быть обнаружена закономерная структура, вызывающая в близких по социальной структуре обществах появление сравнимых по форме и содержанию мировоззрений. Исследуя структуру этого влияния, автор обнаруживает вспомогательные опосредствующие звенья, которые дают мировоззрению исходную аналогию для осознания естественных процессов, определяют форму и проблематику мировоззрения. Наличие подобных опосредствующих звеньев — моделей естественных процессов — в мировоззрении и их определяющая роль — бесспорный факт, который может быть подтвержден анализом социальных и гносеологических корней не только мифологии и возникающей философии, но и современной философии и современной науки. То, что автор тщательно исследует конкретные модели естественных процессов (генетическую, денежную), — большое достоинство рецензируемой книги.

Не менее важна для истории философии и явственно проведенная через всю работу мысль о том, что развитие мировоззрения не может рассматриваться как эволюционный телеологический процесс накопления новых качеств в порядке филиации идей, что качественные изменения в мировоззрении связаны прежде всего с появлением нового опосредствующего звена и переориентировкой мировоззрения на новую модель естественных процессов. Такой подход к проблеме снимает с нее палат телеологической мистики, внесенный гегелевской концепцией абсолютного духа, и ставит проблему развития мировоззрения на материалистическое основание: за исходное берутся не определения мысли, а определения социального бытия.

Правильной и достаточно обоснованной представляется нам и мысль автора о решающей роли денежной модели в появлении греческой философии, если первыми философами Греции признавать милетцев. Нам даже кажется, что автор несколько недооценил возможности денежной модели в том плане, что через отношения товарообмена, выраженные количественно в монетарной системе единиц, сознание впервые вошло в контакт с абстрактным человеческим трудом, что, собственно, и позволило позднее без осознания роли труда как универсального основания распространить математические методы на другие области познания, заложить основы точной науки. В свете этого замечания анализ роли пифагорейцев в становлении философии хотелось бы видеть более детальным и полным.

Вместе с тем некоторые стороны подхода Дж. Томсона к анализу античной философии не могут не вызвать серьезных возражений.

Философия есть, конечно, проекция социальных отношений на окружающий мир в том смысле, что подходы к миру, а с ним и к предмету философии возможны только через социальные по происхождению модели. Но здесь сразу же возникает вопрос: могут ли эти модели рассматриваться как предмет философии, или только как исходные аналогии, определяющие подход к предмету, проблематику, структуру взглядов на предмет? По нашему мнению, нет причин отождествлять предмет философии с теми моделями, по которым он осознается.

Модель в мировоззрении выполняет примерно ту же роль, что и гипотеза в науке. Подобно гипотезе она позволяет начать познание предмета по аналогии. Но между

моделью и гипотезой существуют серьезные различия. В качестве гипотез выступают обычно более или менее сложные умозрительные конструкции, а в качестве модели берется нечто, сложившееся стихийно и представленное в общественной жизни в наглядной, осязаемой форме. Другое важное различие между моделью и гипотезой в том, что модель обычно трудно, а для рассматриваемого периода и невозможно проверить экспериментально. Модель только постулирует некоторую структуру связей в предмете, но не дает путей, которыми можно было бы подтвердить или опровергнуть этот постулат.

Структурное единство наиболее общих законов природы, общества и мышления — предмет философии — существует независимо ни от философов, ни от моделей. Но если предмет философии и взгляды на него не одно и то же, мы сразу же оказываемся перед проблемой отношения модели к предмету в трех ее аспектах. Насколько полна аналогия? По каким признакам социальное явление выделяется в модель естественных процессов? Возможна ли непосредственная связь между моделью и предметом, что, как это имеет место в экспериментирующей науке, повело бы к трансформации модели-гипотезы независимо от социальных изменений? Эта проблема не нашла, к сожалению, отражения в книге Томсона, что, как нам кажется, повело к неправомерной абсолютизации денежной модели. Некоторые заявления автора создают впечатление, что он вообще не различает предмет и модель. Так, сравнивая древний атомизм с современной физикой, автор замечает: «Если в древнем мире атомизм в физике был идеологическим отражением индивидуализма в обществе, то как следует объяснить его близость современной научной теории? Ответ состоит в том, что современная теория, подобно всем научным теориям в классовом обществе, содержит идеологический элемент, который в этом случае отражает аналогичную черту буржуазного общества» (стр. 298). Сделать подобное заявление можно только с позиций отождествления модели и предмета.

Представляется произвольным и искажающим действительный ход развития философии допущение автора, по которому опосредствующее звено-модель должно быть одним, и только одним, для рассматриваемого периода. Такая постановка вопроса вынуждает автора проходить мимо ряда важных социальных явлений, которые, подобно денежному обращению, использовались древними для познания предмета философии. Не умаляя значения денежной модели, необходимо отметить роль таких опосредствующих звеньев, как закрепленный в письменности язык и акт практики.

О письменности автор говорит: «Изобретение алфавита сравнимо с изобретением обработки железа» (стр. 178). Указывает он и на появление у греков букв для закрепления гласных (стр. 178). Но оценка влияния письменности на становление философии явно не удается. Автор не замечает, что появление греческой письменности, способной закреплять все стороны структуры языка, имело для языка и мышления то же значение, что и появление денег для товарообмена. Если деньги создали единый и доступный для анализа эквивалент меновых стоимостей, то письменность, в свою очередь, представила структуру языка и мышления в неподвижном, доступном для анализа виде.

Уже у Гераклита заметно влияние лингвистической модели. Его тяга к «скрытой гармонии» есть во многом тяга к структуре языка. Его теорию связи знака и содержания «по природе» можно, конечно, рассматривать как проявление древней традиции, но особенности словоупотребления Гераклита — тщательный подбор омофонов, широкое использование омонимов — вряд ли сводимы к иератическому стилю, как это считает автор (стр. 127, 218).

С точки зрения использования лингвистической модели представляется спорной и оценка философии элеатов, в которой автор видит завершение перестройки мировоззрения. Конечно, содержание философии Парменида предельно близко денежной модели: только с точки зрения товарообмена можно исключить движение, изменение, возникновение. Но вопрос о форме остается открытым. Исходный постулат элеатов — тождество мысли и бытия: «Одно и то же мысль и то, на что она устремляется, ибо нельзя отыскать мысли без бытия, в котором осуществлена эта мысль» (Simplic., Phys.,

144, 29). В свете этого постулата и учитывая влияние элеатов на дальнейшее развитие философии, имеются серьезные основания видеть в философии Парменида переходный тип к новой модели, где связанное с денежной моделью содержание пытаются влить в новую форму, как милетцы пытались приспособить миф к форме денежной модели.

У Анаксагора и софистов, у Платона и Аристотеля лингвистическая модель выступает не только со стороны формы, но и со стороны содержания. «Мир идей» Платона — «единичный союз» (Phil, 18 с) идей, связанных отношениями соподчинения, — был со стороны его структуры попросту нелепостью с точки зрения денежной модели. В «Республике» (511 b, c) Платон так описывает диалектику: «Узнай теперь и другую часть мыслимого... ее касается ум силою диалектики, делая предположения, — не начала, а действительные предположения, как бы ступени и усилия, пока не дойдет до непредполагаемого, до начала всяческих; коснувшись же его и держась того, что с ним соприкасается, он, таким образом, опять нисходит к концу и уже не трогает ничего чувственного, но имеет дело с видами через виды, для видов и заканчивает на видах». Пытаясь постичь «начало всяческих», ум здесь оперирует жесткими структурными связями соподчинения идей. И сама подобная структура может быть обнаружена только в языке, но никак не в процессах товарообмена, где переход от меновой стоимости к единому эквиваленту не имеет средних звеньев, «ступеней», «видов», на которые ум мог бы опереться. У Аристотеля его учение о категориях, его логика непосредственно восходит к анализу языка. В учении Аристотеля о «сущности» влияние лингвистического анализа сказывается как в постановке вопросов, так и в явно лингвистическом происхождении определяющих элементов «сущности» — формальной и целевой причин.

Утверждать в этих условиях: «сила абстракции, воплощенная в платоновской теории идей и аристотелевской логике, была интеллектуальным продуктом социальных отношений, связанных с абстрактным процессом товарообмена» (стр. 306, по меньшей мере спорно. Язык не менее абстрактен, чем процесс товарообмена. К тому же язык богат структурой, чего нельзя сказать о товарообмене. Платоновская теория идей и аристотелевская логика — структурные конструкции, использующие принцип соподчинения элементов. Моделью таких конструкций мог служить только язык.

Не менее широко использован античной философией в качестве модели акт практики. Уже у пифагорейцев через число, пропорцию намечен переход от акта обмена к акту изменения. У Гераклита это единство, связь состояния и изменения развернуты в космических масштабах «логосом» — вечным диалектическим законом, одним и тем же и для природных, и для социальных, и для логических процессов. В обращении Гераклита к проблемам движения автор видит влияние древней генетической модели, и, соответственно, усматривает в Гераклите последнего из могикиан генетической модели: «диалектика Гераклита представляла старое и отмирающее» (стр. 284). Это явно противоречит дальнейшему развитию античной философии.

Если элеаты берут логос Гераклита только со стороны состояния денежной модели и соответствующим образом формулируют принцип причинности: «из ничего не возникает нечто», то у Эмпедокла, Анаксимандра, Демокрита логос берется со стороны движения. И Демокрит, например, вводит в принцип причинности структуру, отмеченную печатью акта практики: «все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости» («Об уме»).

«Ум» Анаксагора стоит перед «семенами вещей» в том же отношении, в каком человек перед предметом труда: ум не в состоянии уничтожить или создать хотя бы единое семя, он, подобно человеку, может лишь менять формы существования исходной смеси. Замечания Аристотеля и Платона о философии Анаксагора ограничены планами лингвистической и трудовой модели. Аристотель говорит о смеси семян: «возникновение может совершаться не только привходящим образом — из несуществующего, но также можно сказать, что все возникает из существующего, а именно из того, что существует в возможности, но не существует в действительности. И именно к этому бытию сводится единое Анаксагора» (Metaphys., 1069 В). Платон обвиняет Анаксагора в своеобразном вероятностном детерминизме: «Если бы кто-нибудь сказал, что не будь у меня

костей и нервов, я не мог бы поступить так, как я поступаю, то он был бы прав. По утверждать, что я поступаю так, как поступаю в настоящее время, только потому, что имею кости и нервы, а вовсе не потому, что делаю добровольно выбор того, что считаю наилучшим, утверждать так — значило бы показать полную небрежность и леность мышления» (Phaed., 97 B). И замечание Аристотеля и обвинение Платона объяснимы только из трудовой модели: в практике человек имеет дело с реализацией возможностей и с «выбором наилучшего» из позволенного «костями и нервами» для удовлетворения своих потребностей.

У Платона, и это справедливо отмечает автор, сильна древняя генетическая традиция в постановке вопросов изменения, движения (стр. 310). Мысль о самовоплощении идей, наделение идей свойствами специализированного микросубъекта, сам подход к акту практики несут следы генетической модели: «... весьма естественно то, что воспринимает в себя, уподобить матери, то, что дает от себя модель, — отцу, а сущность, которая представляет общий продукт того и другого, — потомку» (Tim., 50 D). Однако в самой постановке вопроса о творении мира в «Тимее» мы встречаем столько деталей из структуры акта практики, что связь с генетической традицией отходит на задний план. Создатель творит мир целесообразно, пользуясь «образцом» (28—29). Создатель творит мир из вне его существующего материала, упорядочивая движение этого материала: «... взял все видимое, которое не в покойном состоянии находилось, а в движении — притом в движении нестройном, беспорядочном, и привел все в порядок из беспорядка, находя, что первый во всех отношениях лучше последнему» (30A). Создатель отдельно творит душу и тело (34 C) по математическим законам (35—37) при помощи орудия труда — «кратера», смешивая в нем сущности (41 D). Выполняя волю создателя, божества сооружают людей весьма противостественными способами: «...стали соединять их, но не теми неразрушимыми связями, которыми связаны были сами, а просто — частыми, по малости своей неприметными гвоздочками» (42 E — 43 A). Иными словами, творение мира идет в порядке трудового, а не полового акта.

У Аристотеля трудовая модель используется о с о з н а н и о: «Как делается каждая вещь, такова она есть и по своей природе, и какова она по природе, так и делается, если ничего не будет мешать. Делается же ради чего-нибудь, следовательно, и по природе существует ради этого» (Phys., 199A). «Сущность» Аристотеля — единство материальной, движущей, формальной и целевой причин — синтезирует все определители акта практики, а не акта обмена или полового акта. От генетической модели Аристотель четко отмежевывается ограничением проблематики движения: «...всякое движение есть некоторое изменение, а изменений существует три... и из этих изменений те, которые относятся к возникновению и уничтожению, не суть движения... движением необходимо признавать одно только изменение из одного определенного данного в другое» (Metaphys., 1068 A). Одним словом, Аристотель сознательно подходит к природе по аналогии с актом практики. И его первый двигатель — не более как пересаживающая в природу и сохраняющая динамические характеристики платоновской идеи цель. Говорить в таких условиях: «Его первый двигатель является идеологическим выражением собственности на однородный рабский труд, воплощенной в античном товарном производстве» (стр. 293) значило бы сказать очень мало.

В целом следует отметить, что денежная модель имела огромное значение для возникновения философии и ее развития, но в чистом «классическом» виде ее вряд ли можно обнаружить у какого-либо философа. Любое философское учение древности предстает как сложный синтез двух или нескольких моделей и, возможно, в противоречиях подобного синтеза можно было бы дать сравнительно полную историю ранней греческой философии.

Абсолютизация денежной модели крайне затрудняет анализ истории постановки основного вопроса философии. Денежная модель не охватывает противоположность сознания и материи, использующие ее школы не поднимают вопросов гносеологии, не имеют теории познания, в их учениях нет почвы для постановки основного вопроса философии. Он мог быть поставлен и действительно ставился только в школах, ко-

торы использовали лингвистическую и трудовую модели. Автор прбует связать постановку основного вопроса философии с объективным и субъективным толкованием мира, видит в милетцах родоначальников объективного материализма, а в орфиках — родоначальников субъективного идеализма (стр. 232—233). Такая попытка представляется спорной по двум причинам: во-первых, сама противоположность субъекта и объекта была бы инородной структурой связей в денежной модели, требовала бы опоры на какую-то другую модель, что явно не укладывается в концепцию автора. Во-вторых, противоположность субъекта и объекта было бы неверным отождествлять с противоположностью сознания и материи. Материальное и объективное весьма близки, но субъект неотождествим с мышлением. Субъект не только мыслит, но и действует, поэтому субъективизм и идеализм — вещи разные. Кстати, учение первого бесспорного представителя философского идеализма — Платона было идеализмом объективным. Вызывают возражение и попытки автора исследовать философию пифагорейцев (стр. 250) и учения элеатов (стр. 285) в терминах «материальный мир», «идеи», «идеализм». Ни у пифагорейцев, ни у элеатов не было противоположности сознания и материи, поэтому основанная на такой противоположности терминология неизбежно модернизирует древние учения.

При всех ее недостатках книга Дж. Томсона «Первые философы» представляет собой солидное материалистическое исследование истории человеческой мысли в период перехода от мифа к философии. Творческая постановка вопросов, смелость мысли, оригинальная трактовка проблем — все это неотъемлемые достоинства книги, автор которой стремится разобраться в проблемах античности с позиций диалектического материализма.

М. К. Петров

* * *

Автор рецензируемой книги — прогрессивный ученый-марксист, профессор Вирмингемского университета Джордж Томсон — хорошо известен советскому читателю. Его книги «Эсхил и Афины» и «Доисторическая Эгеида» рецензировались в свое время в ВДИ¹, а вторая из них была относительно недавно переведена на русский язык². Рецензируемая книга представляет собой второй том широко задуманной серии исследований древнегреческого общества, первым томом которой была упомянутая выше «Доисторическая Эгеида».

Вот уже многие годы проф. Томсон открыто и мужественно пропагандирует марксистские взгляды в изучении древней истории, и каждая его новая работа в этой области воспринимается в капиталистических странах прежде всего с политической точки зрения. Уже «Доисторическая Эгеида» была принята в штыки почти всеми рецензентами буржуазных журналов по древней истории. Только в одном из английских журналов среди комплиментов по адресу эрудиции и таланта Дж. Томсона выражалась надежда, что он откажется от крайностей марксизма и станет «добропорядочным» ученым.

Рассматриваемая книга Дж. Томсона на протяжении 1956 и 1957 гг. рецензировалась, насколько мне удалось проследить, не менее чем в семи журналах³. Фран-

¹ См. ВДИ, 1950, № 4, стр. 106—113 (Б. В. Г о р н у н г); 1952, № 2, стр. 178—187 (К. К. З е л ь и ц); ср. «Письмо в редакцию», ВДИ, 1953, № 4, стр. 107—113 (ответ Дж. Томсона); 1955, № 3, стр. 142—145 (Я. А. Л е н ц м а н).

² Дж. Т о м с о н, Исследования по истории древнегреческого общества. Доисторический Эгейский мир, М., 1958.

³ Д е ф р а д а, JEA, LVIII (1956), стр. 375—379; К е р ф е р д, CR, VI (1956), стр. 255—257; Г е р б е р т, CJ, LII (1956), стр. 41—43; Ж о л и, AC, XXV (1956), стр. 525—527; Х а д а с, JPh, LIII (1956), стр. 825 сл.; К и р к, JHS, LXXVII (1957), стр. 165, и Р о с с, «Antiquity» XXXI (1957), стр. 44—46.

цузский и бельгийский рецензенты (Дефрада и Жоли), несмотря на их отрицательное отношение к марксизму, оценивают в общем благожелательно данную книгу. Дефрада характеризует ее как «живой и свежий обобщающий труд о возникновении греческой философии» и отмечает аргументированность положений Томсона, отсутствие у него вульгаризации и упрощенчества. По мнению Жоли, «нет необходимости полностью придерживаться марксизма, чтобы заметить плодотворность некоторых его положений» в приложении к античности. В то же время Жоли стремится нащупать противоречие между взглядами Томсона и французских марксистов (Коньо) на Аристотеля и Эпикура. Такие же нотки, свидетельствующие о неугасших еще окончательно надеждах на присоединение Томсона к лагерю буржуазных историков, звучат и в рецензии англичанина Керффера.

Однако в большинстве англо-американских рецензий тон совсем иной. Здесь книга Томсона почти единодушно осуждается с большей или меньшей резкостью, как «плод коммунистической пропаганды». В рецензиях занимают много места резкие выпады против марксизма. Характерно, что читателей предостерегают даже от положительных сторон книги. Так, весьма показательно заявление Хадаса: «Еще более раздражает солидная и яркая эрудиция автора... Он нарисовал исключительно компетентную картину развития афинской конституции, но мы все время вынуждены помнить о том, что она имеет в качестве своей основы и рассчитана на поддержку определения государства как „орудия насильственного подавления одного класса другим“».

В рецензируемой книге, как и в предыдущих работах того же автора, далеко не все положения кажутся мне правильными: серьезные возражения вызывает, например, характеристика роли товарного производства, которому Дж. Томсон приписывает чуть ли не всеобъемлющее значение в древности; вряд ли можно согласиться и с его упрощенческими характеристиками экономической обусловленности не только взглядов тех или иных античных философов, но и общей линии развития материализма в древности. И тем не менее не подлежит сомнению, что книга Томсона представляет собой интересную и серьезную попытку применить марксистскую методологию к истории раннегреческой философии и в качестве таковой заслуживает самого внимательного отношения со стороны советских историков и философов.

Содержание рецензируемой книги изложено выше М. К. Петровым. Здесь стоит только еще раз подчеркнуть необычайно широкий диапазон научных интересов Дж. Томсона. Если первая часть книги посвящена вопросам возникновения человека и племенной космогонии, то в следующей части автор дал очерк возникновения и начального развития классового общества в Китае и сравнительную характеристику идеологии рабовладельческих обществ Египта, Двуречья и Палестины. Центральной темой третьей части является изучение влияния культуры Двуречья на мидийскую и, частично, раннегреческую идеологию, главным образом II тысячелетия до н. э. Анализируя это влияние, автор не ищет проторенных путей; он уделяет много внимания доказательству связей между календарями эллинов и вавилонян. Не менее интересно сравнение греческих космогонических мифов с «Энума элиш». Учитывая столь разнообразную тематику книги, вряд ли найдется какой-либо рецензент, способный компетентно оценить все ее разделы, даже поскольку речь идет об обозреваемых ниже первых трех ее частях (стр. 13—164).

Мы остановимся ниже лишь на следующих главных моментах концепции Дж. Томсона: 1) на его критике проспекта первых двух томов «Всемирной истории», 2) на роли товарного производства, 3) на вопросе о рабстве и 4) на значении связей Эллады со странами древнего Востока.

Большой интерес представляет «Введение» (стр. 13—18). Автор излагает здесь содержание проспекта первых двух томов «Всемирной истории», опубликованного в ВДИ, 1952, № 1, стр. 283—312, останавливаясь в особенности на первых трех периодах, совпадающих в основном с хронологическими рамками его книги. Соглашаясь с основными установками проспекта, в частности, с делением классовых обществ древности на ранние и развитые рабовладельческие, Томсон все же считает проспект недостаточно четким в следующих отношениях. Во-первых, развитие товарного произ-

водства в некоторых раннерабовладельческих обществах (Вавилония) «... было более высоким, чем признается в проспекте» (стр. 16). Во-вторых, в проспекте не учитывается «введение железа..., которое, повышая производительность труда мелких производителей, крестьян и ремесленников, давало возможность стать независимыми» (стр. 16). Наконец, в-третьих, нет четкого определения форм классовой борьбы в период перехода от раннерабовладельческого к развитому рабовладельческому обществу. В Афинах появление развитого рабовладельческого общества следует датировать временем не Солона, а Клисфена (стр. 16).

Что касается первого замечания Томсона, то, к сожалению, он не указывает времени, к которому относится, по его мнению, товарное производство в Вавилонии. Вероятно, он имеет в виду время Хаммурапи. В проспекте действительно нет ни слова о торговле Двуречья того времени. Однако в вышедшем в 1955 г. первом томе «Всемирной истории» этому вопросу уделено достаточное внимание (стр. 202 сл.). Все же Томсона интересует в приложении к Двуречью не просто то или иное развитие торговых отношений, но, как сам он пишет, именно товарное производство, развитию которого он склонен приписывать исключительное значение в древности. Не будучи специалистом по истории древнего Востока, я не решусь высказать категорическое суждение по данному вопросу. Однако советские востоковеды не склонны датировать столь ранним временем возникновение товарного производства в Вавилонии⁴. Другое дело — Нововавилонское царство, для которого во «Всемирной истории» (т. I, стр. 563) подчеркивается заметное расширение рабовладельческого производства, значительное повышение его товарности и рост роли обмена. Дж. Томсон останавливается более обстоятельно на значении товарного производства, на исторических критериях, позволяющих нам говорить о его существовании в том или ином конкретном обществе древности, в первом параграфе IV части (стр. 165—169). Но известная характеристика Энгельса относится в полном объеме только ко времени после начала чеканки монеты и, если придерживаться ее буквально, необходимо будет признать, что в древневосточных обществах II тысячелетия товарное производство еще отсутствовало или же существовало лишь в зачаточной форме. Так, очевидно, считает и Томсон (стр. 168). Но тогда непонятно, на каком основании он, полемизируя с авторами проспекта, говорит о «развитии товарного производства» в Вавилонии на стр. 16 (ср. стр. 76). Справедливости ради следует указать, что в главе V («Греческий календарь») Дж. Томсон делает существенную оговорку по вопросу о товарности производства в Двуречье. Он отмечает, что «не считая продовольствия, товарное производство было в основном ограничено, даже для Месопотамии, предметами роскоши..., а внутренняя экономика оставалась в основе своей натуральной» (стр. 99). Но ведь в том-то и дело, что производство продовольствия было основной отраслью экономики Двуречья и допущение здесь товарного производства во времена Хаммурапи ведет не только к сильному преувеличению развития товарно-денежных отношений во II тысячелетии до н. э., но и к недооценке того качественного скачка в развитии, который принесло с собой изобретение чеканки монеты и связанные с ним социально-экономические последствия.

Вряд ли правильно и второе замечание Дж. Томсона о том, что в проспекте не учитывается факт введения железа. Очевидно, он не заметил, что авторы проспекта, говоря об экономическом строе гомеровского общества, указали на «постепенное распространение железа» (ВДИ, 1952, № 1, стр. 291)⁵. Однако Томсон, как это видно из приведенных выше его слов, вкладывает в распространение обработки железа иной смысл, чем авторы проспекта и соответствующих глав «Всемирной истории».

⁴ На стр. 87 автор со ссылкой на «Историю древнего Востока» В. И. Авдиева утверждает, что, по-видимому, при Урукагине «купцы захватили на краткий отрезок времени власть в Лагаше». Это — явное недоразумение. Ни в этом учебнике, ни в каком-либо другом из многих советских исследований на данную тему восстание Урукагины не квалифицируется как возглавляемое купцами.

⁵ Ср. «Всемирная история», т. I, стр. 641.

Он настаивает на том, что обработка железа не только значительно повысила производительность труда, но и создала возможность экономической независимости мелких крестьян и ремесленников.

С последним утверждением согласиться нельзя. Поскольку речь идет о значении железа, надо помнить, что его дальнейшее распространение не только не обеспечило экономической самостоятельности мелких производителей, но несколько не помешало их последующей экспроприации и в Греции и в Риме. Даже в приложении ко времени, изучаемому в рецензируемой книге, с утверждением автора дело обстоит вовсе не так просто. Распространение железа на древнем Востоке, в частности в Палестине, наблюдается значительно раньше и в большей степени, чем в Элладе. Однако здесь не было и речи о такой самостоятельности мелких крестьян и ремесленников, как в Афинах периода расцвета. Да и в самой Греции в различных полисах экономическая самостоятельность мелких собственников выглядела далеко не одинаково. Очевидно, здесь играло роль не одно только распространение железа и даже не один только уровень производительности труда, а целый комплекс взаимно переплетающихся конкретно-исторических моментов.

В отличие от первых двух замечаний Дж. Томсона, которые кажутся мне либо неприемлемыми, либо основанными на недоразумении, я думаю, что следует с ним полностью согласиться в отношении времени установления развитых рабовладельческих отношений в Аттике. По этому важному вопросу нет необходимой четкости ни в проспекте, ни в первом томе. Период от Солона до Клисфена был временем, когда возникали новые, античные формы эксплуатации рабского труда, а установление развитых рабовладельческих отношений во всяком случае нельзя относить уже к началу VI в. Отсюда, естественно, следует, что вплоть до Клисфена основным социальным противоречием в Аттике было еще противоречие между свободной беднотой и родовой знатью, которое лишь в V в. сменилось основным антагонизмом между рабами и рабовладельцами. Этот момент важно было показать с достаточной четкостью и ясностью как в проспекте, так и в тексте «Всемирной истории». И Томсон, несомненно, прав указывая на это серьезное упущение авторов проспекта.

Однако развитые формы рабовладельческой эксплуатации не появились в Греции на пустом месте, и прямым долгом автора было уже в первых частях его книги осветить надлежащим образом развитие ранних форм рабства в Элладе. И Гомер и Геспод дают немало ценных и притом вполне доступных без особого исследования сведений о примитивных формах рабства в Греции. Дж. Томсон полностью умалчивает о соответствующих сообщениях древнейших греческих авторов. В «Предисловии» (стр. 14) он предупреждает, что не «пытался систематически исследовать рабство, полагая, что это задача коллективного исследования». Однако при характеристике картины становления классового общества и государства, даже при оценке экономической основы власти басилеев, ни один историк-марксист не может, на наш взгляд, обойтись без анализа примитивных форм рабства. Между тем Томсон почему-то все время избегает этой темы. Это, естественно, сильно искажает картину социальных противоречий ранней Греции в его книге. Такое пренебрежение к одному из наиболее важных вопросов истории ранней Греции вызывает тем большую досаду, что богатая эрудиция, широкий исторический кругозор и стремление к обобщениям, несомненно, позволили бы Дж. Томсону сделать много ценных и интересных наблюдений и в этой области социальной истории ранней Эллады.

Не менее удивительно фактическое игнорирование Томсоном роли микенского периода в истории континентальной Греции II тысячелетия до н. э. Нарисованная Энгельсом картина родового строя и становления классового общества в Греции, оставаясь правильной в основных чертах, нуждается в поправках. Мы знаем, что в гомеровском эпосе сохранились более или менее значительные reminiscences микенского времени, в частности в отношении власти басилеев. Археологические раскопки центров микенского времени в самих Микенах, Тиринфе, Пилосе и т. д. дают неоспоримые доказательства существования здесь раннеклассовых обществ. Наконец, документы линейного письма В вне зависимости от того, как относиться к рас-

шифровке Вентриса — Чадвика, также неоспоримо свидетельствуют о существовании государственного аппарата. Все эти важные моменты проходят мимо внимания автора. В тех немногих случаях, когда он касается вопросов истории микенского времени, он говорит только о минойском или сирийском влиянии, но ни где даже мельком не касается социально-экономических отношений континентальной Эллады.

Можно было бы возразить, что все указанные нами вопросы мало связаны с основной темой книги — раннегреческой философией. Все это верно, но Дж. Томсон считал возможным посвятить 20 страниц вопросу о возникновении греческого календаря для того, чтобы показать его связи с Востоком. Думается, что указанные выше вопросы во всяком случае не менее важны для темы его работы, чем, правда, очень интересные замечания о системах исчисления времени у греков.

Пренебрежение к внутренней истории микенской Греции сочетается в книге с сильным преувеличением вавилонско-сирийских влияний. Автор почему-то совсем не учитывает общепризнанного влияния Египта на критскую культуру, но всячески подчеркивает воздействие Вавилона и Угарита. Между тем количество находок египетских предметов на Крите и критских в Египте во много раз превышает соответствующие данные о связях Крита с Угаритом, не говоря уже о значительно более редких и слабых контактах с Двуречьем. Как известно, вся не потерявшая доныне своего значения система периодизации минойского Крита основана на синхронизме с Древним, Средним и Новым царством Египта. Активные связи Угарита с Эгеидой относятся ко времени преобладания Микен, а не Кносса. Заявления Шеффера и Вулли о связях Угарита с Алалаха с Критом, на которые ссылается Томсон (стр. 107), лишь в весьма незначительной степени опираются на конкретные археологические факты. Разумеется, нет оснований отрицать наличие связей между минойской и переднеазиатскими культурами бронзового века, однако еще меньше оснований считать эти связи более интенсивными, чем египетские, и выводить из них, например, чуть ли не всю систему эллинской космогонии. Уж если сослаться на мнение археологов, то автору следовало прежде всего обратиться к тем из них, которые раскапывали поселения на Крите и в Балканской Греции, — Эвансу, Пендлбери и другим. Они значительно более компетентны в плане сравнительной оценки влияния Египта и стран Передней Азии на минойскую культуру, чем Шеффер и Вулли.

Все сделанные выше замечания ни в коей мере не изменяют мнения о рецензируемой книге, как об очередном цепном и интересном труде выдающегося английского исследователя-марксиста.

Я. А. Ленцман